

Августин и Витгенштейн: мнимое несогласие о знаках

Толковать о словах при помощи слов же — это то же самое, что, сложив руки, тереть пальцами о пальцы: едва ли кто, кроме самого трущего, сможет распознать, какие именно пальцы зудят, а какие помогают зудящим.
Августин Аврелий, *De magistro*

Временем зарождения семиотики и появления первых теорий знака традиционно считается конец XIX века. И хотя само слово «семиотика» было впервые употреблено двумя веками ранее Джоном Локком, его «Опыт о человеческом разумении» лишь обозначает соответствующую область научного знания. Поэтому вполне справедливо, что в первую очередь она ассоциируется с де Соссюром, Пирсом, Фреге, Гуссерлем и их критиками. Тем не менее, существуют и значительно более ранние попытки такого теоретизирования.

Одной из самых ранних попыток в европейской истории построения теории знака можно считать трактат «О христианской науке» (*De doctrina christiana*) Августина.

Задача, которую ставил перед собой Августин, была скорее богословской, чем философской: обосновать аллегорический метод толкования Священного Писания. Однако в процессе ее решения Августин сформулировал тезисы, которые имеют непосредственное отношение к философии языка: знак может иметь одновременно несколько значений, предпочтительной является интерпретация знака с опорой на контекст, буквальное значение знака может сосуществовать с фигуральным и т.д. Некоторые из этих тезисов кажутся сейчас банальными, но полторы тысячи лет назад они воспринимались иначе.

Гораздо более интересным для современной философии знака является диалог Августина «Об учителе» (*De magistro*). Рассуждая о словах и знаках, Августин и его сын Адеодат приходят к предположению, что знаки служат тому, чтобы учить и учиться, а для этого знак обязательно должен обозначать какой-то предмет, нечто существующее. Но затем Августин предлагает Адеодату объяснить значения отдельных слов в произвольно взятом предложении, в частности, значение слова «если», и это приводит Адеодата в затруднение. Затем Августин предлагает объяснить, что означает слово «ничто». Очевидный ответ — «то, чего нет» — вынуждает признать, что знаку не обязательно должно соответствовать что-то существующее. «Что же

нам делать? Разве что скажем так: этим словом обозначается не предмет, коего в действительности не существует, но состояние нашего духа, когда он предмета не видит, и в то же время находит (или думает, что находит), что его нет». То есть, делает вывод Августин, по крайней мере некоторые знаки не обозначают нечто существующее.

Предварительный вывод *De magistro* можно сформулировать так: сами по себе знаки ничему не учат, а знаки либо указывают на что-то, что мы можем припомнить, либо же, если мы ничего не припоминаем, они бесполезны. «Правильно говорят, что когда произносятся слова, мы или знаем, что они значат, или не знаем: если знаем, то скорее припоминаем, чем учимся; если же не знаем, то и не припоминаем, а побуждаемся, пожалуй, к поискам этого значения... Обо всем, постижимом для нас, мы спрашиваем не у того, кто говорит, тем самым произнося звуки внешним образом, а у самой внутренне присущей нашему уму истины, побуждаемые к тому, пожалуй, словами». Здесь Августин предельно сближается с идеей анамнезиса Платона, говоря о знании как о припоминании и как о метафизической иллюминации. Окончательный вывод, как это часто бывает у Августина, кажется переходом от философии к богословию: знаки бессмысленны без созерцания вещей умом, а такое созерцание невозможно без божественного научения (под словом «учитель», вынесенным в заглавие, конечно же, подразумевается Бог). Впрочем, этот ход был вполне органичным для Августина как мыслителя, не отделяющего философию от богословия.

Ориентированность Августина на проблемы восприятия языка проявлялась и во многих других областях его философствования. В частности, отрицая существование самостоятельной субстанции зла, Августин излагает свою мысль вполне в духе лингвистической философии: мы называем засуху засухой, а не отсутствием дождя, потому что так устроен язык, а не потому, что она реально существует; из существования понятия не выводится существование явления.

К сожалению, в XX веке Августин и его идеи оказались почти полностью проигнорированными представителями лингвистической философии, занимавшимися схожими вопросами. Практически единственным исключением был Людвиг Витгенштейн, неоднократно вступавший в полемику с Августином на страницах своих работ (и удививший членов Венского кружка своим вниманием к хронологически или идейно отдаленным философам — в частности, интересом к Хайдеггеру, автору весьма сомнительному с точки зрения венцев). Кстати, столь же заметный интерес к Августину проявлял друг и учитель

Витгенштейна Бертран Рассел, посвятивший Августину отдельную главу в своей «Истории западной философии».

Сумма взглядов позднего Витгенштейна — «Философские исследования» — начинается с цитаты из «Исповеди», в которой Августин постулирует существование «естественного языка» («естественных слов»), а также формулирует остенсивную теорию обучения языку в общем виде: дети учатся языку, слыша слова и видя, как взрослые указывают или смотрят на соответствующий предмет. Первые параграфы «Философских исследований» посвящены критике этой идеи. Вкратце суть этой критики сформулирована Витгенштейном в «Коричневой книге»:



«Августин, описывая то, как его обучали языку, рассказывает, что его учили говорить посредством заучивания названий предметов. Ясно, что кто бы ни говорил такое, он подразумевает способ, при помощи которого ребенок обучается словам вроде «человек», «сахар», «стол» и т.д. Конечно же, он не думает в первую очередь о таких словах, как «не», «но», «может быть»».

Эта цитата должна привести в удивление читателя Витгенштейна, хорошо знакомого с Августином. Витгенштейн предполагает, что Августин не учитывал существования служебных частей речи. Но в *De magistro* указание именно на их существование служит основным аргументом, подтверждающим тезис о том, что по крайней мере некоторые знаки не могут быть объяснены по отдельности и вне контекста — тезис, с которым согласился бы сам Витгенштейн. Более того, полагая, что знаки сами по себе ничему не учат и не «выводят» на предметы, Августин оказывается близок Витгенштейну, утверждавшему в «Логико-философском трактате», что мир состоит из фактов, а не предметов, и язык выражает факты, а не предметы. Кроме того, не будет большим преувеличением сказать, что, по сути, основные положения Витгенштейновой критики остенсивной теории уже содержатся в *De magistro* Августина.

Примечательно сходство самой формы изложения у этих двух хронологически весьма далеких друг от друга авторов. Многие труды Августина являются диалогами, но в них, как правило, собеседнику отводится формальная роль, или же собеседник задает те вопросы, которые служат для уточнения и обоснования мысли Августина и явно придуманы им самим. Труды Августина, в том числе формально не являющиеся диалогами, часто строятся по следующей схеме: Августин формулирует некий тезис и предполагает, что многие возразили бы ему таким-то образом (или же ему возражает присутствующий собеседник). На это Августин бы ответил так-то, но ему можно было бы возразить так-то и т.д. Августин как бы играет в шахматы в одиночку, рассчитывая ходы и за себя, и за противника. Но подобным же образом составлены и «Философские исследования»: Витгенштейн считал такую форму наиболее удобной для выражения своих поздних взглядов.

Однако «игра» Августина и за себя, и за оппонента роднит его не только с Витгенштейном. Рассмотренный выше *De magistro* (как и некоторые другие работы Августина) композиционно является диалогом, но диалогом, по форме сильно напоминающим платоновские: реплики Адеодата, как правило, несут минимальную смысловую нагрузку, подобно тому как реплики Аристотеля, собесед-

ника Парменида в одноименном диалоге, сводятся исключительно к «верно», «именно так» и т.п. В других диалогах собеседники Августина задают наводящие вопросы или же формулируют заведомо шаткие тезисы, ошибочность которых показывает сам Августин. Это вызывает ассоциации и с «Философскими исследованиями», и, опять же, с майевтикой в диалогах Платона. Едва ли здесь имело место прямое влияние Августина, но можно сказать, что методологически он связывает Платона с Витгенштейном: например, параграфы 98-99 «Философских исследований»: «...даже в самом расплывчатом предложении должен быть совершенный порядок. Конечно, смысл предложения может — скажем так — оставлять открытым то или другое, однако предложение должно иметь какой-то определенный смысл. Неопределенный смысл, по сути, вообще не был бы смыслом. Так же как нечеткая граница, собственно говоря, вовсе не граница. Ведь, заявив я, что “крепко запер человек в комнате, оставив открытой только одну дверь”, подумали бы: выходит, он его вообще не запер. Его закрыли в комнате лишь для виду. Мне в таком случае могли бы сказать: “Ты вообще ничего не сделал”. Ограждение с дырою — это то же самое, что и полное отсутствие ограды. — Но так ли это?»

Отдельно стоит отметить, что в том же *De magistro* Августин, косвенно обосновывая майевтический метод Сократа, одновременно показывает, что действенность майевтики в одних случаях и ее непродуктивность в других случаях подтверждает его основной тезис о знаках: «Ибо, если спрашиваемый, как это часто бывает, сперва отрицает что-нибудь, а потом рядом вопросов вынужден бывает признать, то происходит это вследствие слабости умственного взора спрашиваемого, который не в состоянии разом постигнуть в том свете предмет целиком, почему его и заставляют делать это по частям, когда спрашивают об этих самых частях, из коих складывается то целое, которое он не в состоянии был объять своим взором за один раз. Если к этому он приводится и словами спрашивающего, то слова не учат его, а только используются как особые приемы, посредством которых спрашиваемый способен учиться внутренне».

Таким образом, в вопросах языка и знака Августин и Витгенштейн придерживались во многом схожих взглядов. Бесспорно, в «Исповеди» Августин косвенно формулирует тезис, с которым Витгенштейн не мог согласиться. Но в «Исповеди» Августин скорее занят интроспекцией, он старается как можно точнее передать свое состояние в разные периоды своей жизни, и хотя точка его зрения фиксирована — это точка зрения зрелого Августина,

по крайней мере некоторые метафоры и объяснения могут быть анахроническими, не отражающими взгляды зрелого Августина. Ведь в *De magistro* мы могли видеть, что Августин был скорее противником, чем сторонником теории остенсивного обучения языку, и едва ли ко времени написания «Исповеди» (т.е. спустя 10 лет) слабость этой теории перестала быть для него очевидной.

Разумеется, несмотря на все вышесказанное, Августин и Витгенштейн в целом мыслили весьма различно. Сердцем теории значения Августина, в итоге, оказывается некое предпонимание языка, а Витгенштейн растворяет значение в обыденной практике. Тем не менее, в некоторых интуициях они сходились намного ближе, чем можно было бы ожидать.

Несомненно, влияние Августина на европейскую философию в целом огромно, но влияние это было неравномерным как хронологически, так и тематически. Не в последнюю очередь это связано с тем, что многие труды Августина были переведены на современные европейские языки очень поздно (а некоторые не были переведены вовсе). По всей видимости, Витгенштейн не читал *De magistro*, но было бы трудно вменить ему это в вину: первые английские и немецкие печатные переводы *De magistro* появились, скорее всего, уже после написания «Философских исследований». Возможно, именно поэтому Витгенштейн популяризировал не те идеи Августина, которые он развивал старательно и подробно, а ту, которую он сформулировал в «Исповеди» мимоходом. Тем не менее, едва ли кто-то из философов двадцатого века высветил эту сторону философствования Августина так же ярко, как Витгенштейн.

Иван Лапшин

Художники:
Ксения Сайфулина
Алексей Поляков

